

Фрагмент из романа

Florian Illies
1913. Der Sommer des Jahrhunderts

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012
ISBN 978-3-10-036801-0

с. 13-26

Florian Illies
1913. Лето целого века

Перевод Сергея Ташкенова



Январь

В этом месяце Гитлер и Сталин гуляют по дворцовому парку Шёнбрунн, Томасу Манну грозит аутинг, а Францу Кафке – сойти с ума от любви. К Зигмунду Фрейду на кушетку забирается кошка. Очень холодно, снег скрипит под ногами. Эльза Ласкер-Шюлер сидит без средств к существованию, влюбляется в Готфрида Бенна, получает от Франца Марка открытку с лошадьми и обвиняет Габриэль Мюнтер в никчемности. Эрнст Людвиг Кирхнер рисует кокоток на Потсдамской площади. Выполнена первая мертвая петля. Но всё тщетно. Освальд Шпенглер уже пишет «Закат Европы».



© 2013 S. Fischer Verlag

Первая секунда 1913 года. Выстрел оглушает темную полночь. Раздается щелчок, палец пружинит металл курка – и второй, глухой выстрел. Сбежавшиеся полисмены задерживают стрелявшего. Его зовут Луи Армстронг.

Украденным револьвером двенадцатилетний Луи хотел встретить в Новом Орлеане наступающий год. В итоге, ночь он проводит в камере, а ранним утром первого января его отправляют в исправительное заведение, «Уэйфс Хоум» для цветных подростков. Там он демонстрирует поведение настолько буйное, что директору заведения, Питеру Дэвису, не приходит в голову ничего лучшего, как подсунуть ему трубу (вообще-то, он хотел надавать ему пощечин). И – о чудо – Луи Армстронг умолкает, чуть ли не с нежностью берет в ладони инструмент, и пальцы, еще ночью игравшие со спусковым крючком револьвера, вновь ощущают под собой холодный металл, но вместо выстрела, уже там, в кабинете, начинают извлекать из трубы первые теплые, буйные звуки.



«Только что грянула полуночная пушка. Крики с моста и с улицы. Бой часов и колоколов»,¹ – сообщает из Праги доктор Франц Кафка, служащий Агентства по страхованию рабочих от несчастных случаев при Королевстве Богемии. Вся его публика расположилась в далеком Берлине, в квартире на Иммануэлькирхштрассе, 29, и состоит из одного единственного человека, но человек этот для него – весь мир: Фелиция Бауэр, двадцать пять лет, волосы светловатые, сама худошавая, довольно высокая, стенографистка в АО «Карл Линдстрём». В августе – дождь лил как из ведра – случилось их короткое знакомство, у Фелиции промокли ноги, у него – душа ушла в пятки. Но с тех пор, каждую ночь, когда домашние спят, они пишут друг другу по страстному и странному письму. А днем – еще по одному вдогонку. Когда однажды Фелиция пару дней не давала о себе знать,

¹ Здесь и далее цитаты из писем Кафки к Фелиции цитируются по переводу М. Рудницкого.
© 2013 Litrix.de

он, пробудившись от беспокойного сна, в отчаянии сел за «Превращение». Он рассказывал ей про эту историю, незадолго до Рождества он ее закончил (теперь она лежала у него в секретере, согреваемая теплом обеих фотографий, присланных Фелицией). Но как скоро ее далекий, любимый Франц сам способен превратиться в страшную головоломку, она узнала только с этим новогодним письмом. Не побила бы она его зонтиком, вопрошает он из пустоты, если бы он просто остался в постели, случись им вдруг условиться о встрече во Франкфурте на Майне, чтобы после выставки сходить в театр, – примерно так ставит Кафка вопрос, трижды сослагая наклонение. И затем он, как бы невинно, закликает их взаимную любовь, мечтая о том, чтобы его и Фелиции запястья были связаны неразрывно. И всё для того, чтобы «вот так, нерасторжимой парой, взойти на эшафот». Какая прелестная мысль для письма невесте. Еще не целовались, а уже фантазии о совместном восхождении на эшафот. Кажется, будто Кафка и сам вдруг испугался того, что из него вырвалось: «Да что же это такое лезет мне в голову», – пишет он. Объяснение просто: «Это всё число 13 в дате Нового года». Вот, оказывается, с чего начинается 1913 год в мировой литературе: с жестокого фантазма.



Объявление о розыске. Пропала: «Мона Лиза» Леонардо. В 1911-м ее похитили из Лувра – и до сих пор ни следа. Полиция Парижа допрашивает Пабло Пикассо, но у того алиби, его отпускают домой.

В Лувре скорбящие французы возлагают букеты цветов к голой стене.



В первые дни января – точной даты неизвестно – на Венский Северный вокзал поездом из Кракова прибывает запущенного вида тридцатичетырехлетний русский. Он хромот. В этом году его волосы

еще не знали мыла, а пышные усы, буйным кустом разросшиеся под носом, безуспешно пытаются скрыть на лице оспину. Только прибыв, в разбитых ботинках и с набитым чемоданом, он не медля садится в трамвай до Хитцинга. Греческо-грузинское «Ставрос Пападопулос», стоявшее в паспорте, вкупе с неухоженной наружностью и морозом на улице, не вызвало подозрений у пограничников. В Кракове, будучи в другой эмиграции, он вчера вечером успел в очередной раз обыграть Ленина в шахматы, седьмой раз подряд. Это он умел явно лучше, чем ездить на велосипеде. Последнему Ленин отчаянно пытался его обучить. Революционеры должны быть быстрыми, – втолковывал он ему. Но этот человек, который на самом деле звался Иосифом Виссарионовичем Джугашвили и выдавал себя теперь за Ставроса Пападопулоса, ездить на велосипеде не научился. Незадолго до рождества он скверно с него упал на оледенелых мостовых Кракова. Нога была еще вся в ушибах, колено вывихнуто, и только второй день, как он вообще мог ходить. Мой «чудесный грузин», как назвал его с улыбкой Ленин, когда тот, хромя, пришел к нему за поддельным паспортом для поездки в Вену. В добрый путь, товарищ.

Беспрепятственно пересек он границу, лихорадочно корпел он в поезде над рукописями и книгами, которые в спешке укладывал в чемодан при пересадке.

И вот, прибыв в Вену, он отказался от грузинского псевдонима. С января 1913 года он говорил: Меня зовут Сталин. Иосиф Сталин. Сойдя с трамвая, он увидел слева дворец Шёнбрунн и раскинувшийся за ним парк. Он идет на Шёнбруннер Шлоссштрассе, 30, как указывалось в записке, которую дал ему Ленин. И еще: «Дверной звонок – Трояновски». И вот он сбивает снег с обуви, высмаркивается в платок, нерешительно

жмёт кнопку звонка. При появлении служанки произносит кодовое слово.



В Вене на Берггассе, 19 кошка прокрадывается в кабинет Зигмунда Фрейда, в котором как раз началось очередное вечернее собрание по средам. Это уже вторая нежданная гостья за последнее время – поздней осенью к кругу господ присоединилась Лу Андреас-Саломе: по началу на нее косились с подозрением, теперь – глядели, млея от восторга. На подвязке своих чулок Лу Андреас-Саломе носила целую коллекцию скальпов добытых ею гениев: с Ницше она была в одной исповедальне в Соборе Св. Петра, с Рильке – в одной постели и в гостях у Толстого в России; считается, в ее честь Франк Ведекинд назвал свою «Лулу», а Рихард Вагнер – свою «Саломею». Теперь ее трофеем стал Фрейд, по крайней мере, трофеем интеллектуальным: этой зимой она даже удостоилась чести гостевать у него на рабочем этаже и обсуждать с ним его новую книгу «Тотем и табу», над которой он как раз сидел, и внимать его жалобам на К. Г. Юнга и этих цюрихских предателей. Но главное, меж тем уже пятидесятидвухлетнюю Лу Андреас-Саломе, автора нескольких книг о Духе и Эротике, маэстро сам обучал психоанализу – в марте она подумывала открыть собственный кабинет в Гёттингене. И вот она на семинаре «Общества среды», рядом с ней – ученые коллеги, справа – уже тогда ставшая легендарной кушетка, и всюду статуэтки, которые собирал одержимый античностью Фрейд, дабы скрасить пребывание в современности. В этот круг блестящих умов вместе с Лу через дверь проскользнула и кошка. Фрейд сперва замешкался, но увидев, с каким любопытством кошка разглядывает греческие вазы и римские статуэтки, наказал принести ей молока. Но Лу Андреас-Саломе сообщает: «При этом, несмотря на всю его любовь и восхищение, она не обращала на него ровно никакого внимания: холодные зеленые глаза с косыми зрачками смотрели на него как на обычный предмет, и если вдруг ее эгоистично-нарциссического урчания Фрейду становилось мало, то ему приходилось жертвовать комфортом и,

опустив ногу с кушетки, искусным движением кончика туфли добиваться внимания кошки».

Впредь у кошки всегда был доступ к этим собраниям, а когда она захворала, ей даже было дозволено, закутанной в компрессы, лежать на кушетке Фрейда. Как оказалось, и она поддается терапии.



Кстати, о хворающих. Куда делся Рильке?



Страх, что 1913 год окажется годом несчастливым, преследует современников. Габриэле Д'Аннунцио дарит другу свое «Мученичество Святого Себастьяна», предусмотрительно датируя посвящение так: «1912 + 1». Арнольд Шенберг также затаил дыхание перед несчастливым числом. Неспроста он изобрел «12-тоновую музыку» – основу музыки современной, рожденную из ужаса ее создателя перед тем, что грядет после. Рождение рационального из духа суеверия. В произведениях Шенберга цифру 13 и не встретишь: ни такта такого нет, ни страницы такой. С ужасом обнаружив, что название его оперы о Моисее и Аароне состояло бы из 13 букв, он вычеркнул вторую «а» из имени Аарон, так что с тех пор она называется «Моисей и Арон». А тут – целый год под знаком чертовой дюжины. Шенберг родился 13-го сентября и панически боялся умереть в пятницу 13-го. Но всё тщетно. Арнольд Шёнберг умер в пятницу, 13-го (правда, лишь в 1913 + 38, т.е. в 1951-м). Но и год 1913-й готовит ему сюрприз. Общество даст ему пощечину. Но – всё по порядку.



Для начала на сцене: Томас Манн. Ранним утром 3-го января Манн садится в Мюнхене в поезд. Сперва он читает газеты, письма, смотрит

в окно на заснеженные холмы Тюрингского леса, то и дело начинает клевать носом в душном купе, тревожась мыслями о Кате, в очередной раз уехавшей на лечение в горы. Летом он навещал ее в Давосе, и в приемной врача у него неожиданно родилась идея большого рассказа, но сейчас она кажется ему такой бессмысленной, такой далекой от мира, эта история с санаторием. Что ж, пока хоть выйдет «Смерть в Венеции» через пару недель.

Томас Манн сидит в поезде и переживает за свой гардероб: какая досада – всякий раз одежда мнется в поездке; по прибытии незамедлительно отдать в гостинице пальто на глажку. Решив размять ноги, он встает, отодвигает дверь купе и расхаживает по вагону. Стрункой. Все думают, по вагону идет проводник. За окном пролетают Дорбургские замки, Бад Кёзен, Заальские виноградники, – занесенные снегом, они, словно полосы зебры, тянутся вверх по склонам. Вид и правда красивый, но Томас Манн чувствует: чем ближе Берлин, тем сильнее страх.

С поезда его прямиком доставляют в гостиницу «Унтер ден Линден»; регистрируясь, он оглядывается, не узнал ли его кто из гостей, проталкивающих за его спиной к лифтам. Затем поднимается в номер – тот же, что и всегда – обстоятельно приодеться и лишний раз пройти расческой по усам.

В Груневальде, в самой западной части города, в своей вилле на Хёманнштрассе, 6, в тот же самый час Альфред Керр повязывает бабочку и воинственно подкручивает кончики усов.

В восемь вечера начнется их дуэль. В пятнадцать минут восьмого оба рассаживаются по дрожкам. Они едут к Немецкому театру, прибывают одновременно. Игнорируют друг друга. На улице холодно, оба спешат внутрь. Когда-то в Банзине на берегу Балтийского моря, но это только между нами, он, Альфред Керр, крупнейший критик Германии и тщеславнейший пижон, просил руки Кати Принсгейм, богатой еврейки с глазами кошки. Но она отвергла его, бурного гордого уроженца Вроцлава, и кинулась на грудь Томасу Манну – сухому, как полено,

ганзеату. Уму непостижимо. Но, может быть, сегодня вечером удачный шанс с ним расквитаться.

Томас Манн садится в первый ряд, старательно излучает торжественный покой. Этим вечером – берлинская премьера его «Фьоренци», книги, написанной в пору, когда полюбил Катю. Но он предчувствует фиаско – пьеса давно была его больным местом. Во избежание драмы, не следовало драму и лепить, думает он. «Кое-что я пытался спасти, но кажется, меня не слышат», – написал он Максимилиану Гардену перед тем, как выйти в Мюнхене из дома на Мауэркирхенштрассе, 13.

Он ненавидел беспомощно наблюдать неумолимое приближение собственной катастрофы. Такое не пристало никакому Томасу Манну. И все же, то, что в декабре он увидел на репетиции, не сулило ничего доброго. Мучительно следит он за пьесой, в которой должен пробудиться к жизни флорентийский ренессанс – но не ладится никак: одних потуг сплошные вереницы на фоне Уффици.

Украдкой Манн бросает взгляд через плечо. Там, в третьем ряду – Альфред Керр: карандаш так и летает по записной книжке. Тьма в зрительном зале непроглядная, и тем не менее ему чудится улыбка на лице Керра. Улыбка садиста, нашедшего в этой постановке прекраснейший материал для издевательств. А когда он ловит на себе тревожный взгляд Томаса Манна, его охватывает еще более блаженный трепет. Неопишное удовольствие – держать за горло Томаса Манна с его бездарной «Фьоренцой». Ибо ему ясно: он яростно сожмет на ней манжеты рук, а разожмет – она падёт на землю бездыханной.

Занавес, любезные аплодисменты; любезные настолько, что режиссер в единственной своей удачной постановке умудряется пригласить Томаса Манна на сцену дважды. В последующие недели он не устанет упоминать об этом в бесконечных письмах. Дважды! Он старательно кланяется – дважды! – смотрится, однако, неуклюже. В третьем ряду сидит Альфред Керр и совсем не хлопает в ладоши. Уже этой ночью,

вернувшись на виллу в Груневальде, он просит заварить чаю и принимается писать. Торжественно садится он за печатную машинку и набирает на бумаге римскую «I». Керр нумерует абзацы отдельно, словно тома в собрании сочинений. Сперва затачивает саблю: «Автор – душа тонкая, и даже чересчур, корень ее произрастает из тихого обиталища усидчивости сочинителя». И начинает кромсать: эта дама Фьоренца, выступающая, вероятно, символом Флоренции, вышла донельзя вялой, сама пьеса, писаная не иначе как в библиотеках, получилась натянутой, сухой, слабой, безвкусной, излишней. Так вот он написал.

Пронумеровав десятый абзац и поставив точку, он удовлетворенно вынимает из машинки последний лист: Это – уничтожение.

Утром следующего дня, когда Томас Манн садится в обратный поезд до Мюнхена, Керр направляет текст в редакцию газеты «Дер Таг». 5-го января она выходит из печати. Когда Томас Манн ее читает, с ним случается удар. Пьеса его сочинена «не по-мужски», написал Керр, – это заденет Манна больше всего. Намекает ли здесь Керр на скрытую гомосексуальность Томаса Манна или просто сам Манн понял это как намёк, – суть одно. Керр – как кроме него один лишь Краус – знал толк в том, какими словами где больнее ранить. В любом случае, Томас Манн ранен глубоко, «до крови», как он пишет. Всю весну 1913 года он так и не оправится от этой критики, ни одно письмо не оставит без внимания этот инцидент, ни одного дня не пройдет без ненависти к этому злостному субъекту. Гуго фон Гофмансталу Манн пишет: «Примерно я полагал, что там будет, но действительность превзошла все ожидания. Ядовитая пачкотня, из которой любому ясна будет личная кровожадность ее сочинителя!»

Он написал это лишь потому, что меня не заполучил, милый мой Томми, – утешает мужа вернувшаяся с лечений Катя, по-матерински глядя его по голове.



Закладываются основы двух национальных мифов: в Нью-Йорке выходит первый номер «Вэнити Фэйр», а в Эссене мать Карла и Тео Альбрехтов открывает прототип первого супермаркета «Альди».



А у Эрнста Юнгера что? «Четверка с минусом». По крайней мере, такую оценку семнадцатилетний Юнгер получает в реформированной школе Гамельна за сочинение о «Германе и Доротее» Гёте. В нем он написал: «Эпос переносит нас во время Французской революции, чей жаром сияющий свет пробуждает от полусна повседневности даже мирных обитателей тихой Рейнской долины». Но учитель оказался недоволен. Красными чернилами он отметил на полях: «Мысль на этот раз выражена чересчур серьезно». Что мы узнаём: Эрнст Юнгер уже был серьезным, когда никто еще не принимал его всерьез.